

Зима в этом году пришла рано. Снега еще не было, но холод уже сковал реки тонким слоем льда. Короткие, но ясные дни полетели один за другим.

В монастыре всегда есть чем заняться. Праздность грех.

Иеромонах Владимир стоял возле окна и читал Писание, крестясь в конце каждой страницы. Телом он был еще крепок, но глаза уже ослабели — приходилось держать книгу очень близко к лицу. Читающий старался дышать реже, чтобы не осквернять святые строки своим дыханием.

В читальню вошел юноша. Кузьма, послушник.

— Настоятель спрашивает, готова ли глава?

— Да, готова.

Исписанные листы телячьей кожи, еще не помещенные в переплет, лежали на столе рядом. Кузьма взял их и принялся внимательно рассматривать.

— Что ты там высматриваешь, бестолочь?

— Чё это я бестолочь?

— Не грамотный, вот и бестолочь, какой смысл в тебе, если толка от тебя как с козла молока?

— Прямо, в грамоте все дело...

— А зачем Господь тебе разум дал? Руки у тебя есть, ноги есть, руками берешь, ногами ходишь, а головой что ты делаешь, если знаний в ней нет?

— Я ею думаю...

— О чем ты думаешь ею? Как утробу свою набить? Так и кот на кухне о том же думает.

— Умножающие знание умножают скорбь... — попытался отбиться и защититься послушник

Но в ответ на его слова летописец отвесил звонкий подзатыльник... такой сильный, что аж сопля из носа вылетела. Паренек обиженно шмыгнул носом.

— За что?

— Не смей в глупости своей говорить святые слова. Эти слова о том, что чем больше ты познаешь, тем больше понимаешь тленность мира сущего, ибо только Царство Небесное вечно.

Владимир назидательно потряс пальцем перед курносым лицом Кузьмы. Парнишка примолк и, насупившись, вышел из читальни, с записями в руках. Автор же летописи вернулся к чтению Писания. Он даже не чи-

тал, скорее, просто пробежал глазами по строкам, ибо давно уже знал их наизусть. Душа его была не на месте... Как оценит Настоятель его труд? Что скажет?

Это была первая глава летописи о событиях более чем сорокалетней давности. О событиях перед великой битвой на поле Куликовом. Пока живы те, кто выжил в той кровавой сече, те, кто изгнал поганых кочевников с земли русской, это надо записать! Пусть не все он знает, но то, что известно, надо сохранить. Многие другие напишут то, что знают они, и получится большая летопись о героях, о великих делах князя Дмитрия. О его духовном отце Сергии Радонежском.

Когда говорил с Сильвестром, все казалось ясным и понятным, но сейчас руки начинали дрожать. Владимир сомневался. Он не спорил с Настоятелем. Кропотливо выполнял свое послушание. Но сомнения сидели в его душе. О чем писать? Что важно? Победа была, но сейчас Русь опять дань платит. Может, и зря все было, зря люди сгнули?

Писал Владимир о том, что было перед битвой. Первая глава его о набегах на села и деревни, о том, как насиловали, грабили, убивали жадные, жестокие, как бесы из преисподней, степняки.

«Многия беды чинили» — ту боль, что приносили всадники с кривыми саблями, не описать словами, а значит и этих простых слов достаточно.

Писал он о том, как князюшко Дмитрий собрал русские войска числом несметным и направился на встречу черному войску самозваного хана Мамаю, войска которого разоряли земли вокруг. Добычи богатой не было, но воинам ордынским хотелось покуражиться. Добычу они в больших городах взять намеревались.

Владимир отложил в сторону писание. Взгляд его устремился на двор монастыря, воспоминания пошли непрерывной чередой.

В один из таких набегов лет за семь до битвы, деревеньку их захудалую, недалеко от реки Вятки, разорили начисто. Самого Владимира, четырнадцати лет от роду, взяли в плен кочевники. Татары. Младших сестер, невесту его, да и всех молодых, угнали куда-то совсем в другую сторону, на рынок, где людей продают как скотину. И попали они в кибитки кочевые на забавы да тяжелый труд. Что еще дикому степняку желать? Красивые белые славянки всегда у них в цене. Братьев тех, кто постарше, увели в Орду, а самого маленького на глазах матери отдали своим серым псам. Те загрызли малыша насмерть. Мать, не выдержав этого, кинулась на копьё к одному из татар, умерла с проклятиями на весь их нечистый род. Что она еще могла, слабая женщина, против вооруженного головореза? Глядя на все это, бабы плакали, старики рвали на себе волосы от бессилия, от злобы на собственную немощность. Так было, такие воспоминания остались. Ни радости, ни света нет в них. Отчаяние и злоба. В такой злобе люди ломаются, веру теряют, в себя и в Бога. Сатанеют, облик человеческий теряют.

«Многия беды», — прошептал монах едва слышно. Такова была жизнь в приграничных с Ордой землях. От избытка той, забытой когда-то боли, в горле запершило, перехватило дыхание и глаза старика увлажнились. Слеза покатила по щеке, среди морщин. Воспоминания не отпускали. Владимир налил себе отвара из глиняного кувшина, что стоял под рукой, и поднес к дрожащим от волнения губам. Горечи травяного отвара он не почувствовал. Былое сейчас владело его разумом и духом. Детали, голоса, лица людей, все представало как произошедшее вчера.

Голод и холод степи. Мужчин гнали пешком, еды почти не давали, выбившихся из сил убивали. Владимир был худ, и его тоже хотели зарубить, но спасло его знание, переданное дедом. Старик был деревенским знахарем, лечил людей и деревенский скот. Научил и внука, чему успел. Невыносимо было и в рабстве у татар. Многие пытались бежать, их догоняли, ломали ноги и бросали в степи на верную и мучительную смерть.

Четыре бесконечно долгих года. Татарин, к которому он попал, часто сёк своих рабов, а Владимира забавы ради поженил на кривой дурочке. Владимир — тогда еще он был Яшкой, имя сменил, когда постриг принял — лечил людей и коней, кастрировал жеребцов, принимал роды у женщин и кобылиц, жилось ему легче, чем остальным. Татарскому хозяину несколько раз предлагали продать Яшку, но тот каждый раз отказывался.

Были и такие, что прижились у татар. Кузнец один ладные сабли ковал, ему жилу на ноге подрезали, чтобы не убежал, а он и не собирался бежать. «Жену тут дали, жить где — есть, что еще нужно? Что под князем псом, что под татаринном, одно и то же», — говаривал он время от времени. И не было ему стыдно за то, что саблями его работы секут православных, что кони, его подковами кованные, топчут землю русскую.

Однажды Яков сбежал. Давно он планировал, как сподручнее это сделать. Татары тогда шли на бой с «урусами», были веселы, предчувствуя легкую победу. Не ведали, что их ждет. Яша не знал всего, что происходило. Опасаясь бунта или массовых побегов, татары молчали о своеволии князя Дмитрия, который отказался платить им дань и собрал большую армию. А рабам, пойманым недавно, отрезали языки, чтобы не проболтались.

Татары не боялись поражения, они предвкушали победу. Обсуждали, кто и какой добычи привезет в свою кибитку. Тем более что и литовский князь Ягайло собрал войско и пошел на союз с ордынским ханом. Пусть и не православный, а все же христианин собирался нож вставить в спину Московии. Предательство. Все то время пропахло предательством, подлостью. Каково было князю Дмитрию жить и думать, что любой заключенный союз может рухнуть?

Татары уже не один день стояли лагерем, ежедневно объезжая округу. Поэтому налет небольшого дозорного отряда на окраину лагеря был как

гром среди ясного неба. Эти руссы совсем не походили на напуганных крестьян, они, хохоча, секли не успевших вскочить в седла кочевников и пускали стрелы, не сходя с коней. Это были отборные дружинники — опора князя. Когда случился этот наезд, Яшка выскочил из своей палатки и, не раздумывая, запрыгнул на ближайшего коня. Такой шанс к побегу он упустить не мог. Пронесшийся мимо дружинник уже занес руку с булавой, чтобы выбить его из седла, но Яков тогда впервые за многие годы перекрестился, размахисто, с какой-то дикой радостью. Всадник не тронул его. Пришпорив коня, бывший раб бросился прочь. Скакал и скакал, пока не увидел дымы от костров лагеря русских. На окрик дружинника: «Стой! Кто таков?» — ответить уже не было сил. Просипел так громко, как только смог.

— Свой я, русский я, православный я! Вот те крест святой! — и во второй раз крестное знамение спасло ему жизнь.

Владимир отвлекся от нахлынувших воспоминаний. Сердце заколотило от волнения. Нельзя так. В его-то годы. Опять выпил отвара из трав. Чуть успокоился, присел на лавку. О чем писать далее? О Пересвете и Ослябе?

Пересвета ему принесли и положили на излечение. С первого дня он стал лечить всех, кто обратится. Но ни Яшка, ни любой другой лекарь иноку уже не помог бы. Он умирал от страшной раны. Будь на нем кольчужка или другой какой доспех, может и обошлось бы. Но на Пересвете была только простая ряса, а душу его защищало благословение Сергия Радонежского. Пришел батюшка исповедовать умирающего. Не видя ничего вокруг, Пересвет схватил Яшку за руку, притянул к себе и заговорил быстро-быстро.

— Малец, слышь, малец, ты постриг прими, у тебя никого живых не осталось, один ты, один. Прими постриг и молись за души, за грехи наши, я сам грешен, я сам... я сам... много бед на мне. Отец Сергий благословил, сказал испукать смогу, а я... разве так испукать?..

Видя, что человек сейчас умрет, батюшка оттолкнул Яшку в сторону и присел рядом с Пересветом, нельзя без покаяния человеку уходить. О чем они говорили в этой последней, самой важной в жизни беседе, только им двоим да Богу известно. Как об этом писать?

Владимир встал и прошелся по келье своей. О чем еще писать? О том, что татары стрелы свои в трупах падшей скотины держали, а раненые стрелами этими умирали долго и в муках, да еще близких заражали? Написать о том, что Яшка кровь из свежих ран, от стрел этих высасывая, заразился тифом и лежал при смерти две недели? Зато те дружинники и ополченцы, кому он помог, живы остались. Всё это можно пережить. И тиф, и чуму, и голод, все это забудется. Но не забудет он никогда тот плач жен, сестер, матерей, невест, после сечи, когда вышли они искать родных своих и суженых. Этот вой он не забудет никогда. Скрежет зубов-

ный в аду с этим может только сравниться. Вернулся послушник с красным от мороза носом.

— Отец настоятель спрашивает, о чем вторая глава будет?

Глядя на молодого балбеса, иеромонах усмехнулся.

— Не знаю, о чем будет. Не о чем мне писать, праздну все.

— Как это не о чем? — удивился паренек. — Ты же говорил, что князя

Дмитрия видел, что Пересвета видал, об этом и пиши.

— Нет, не буду, праздну это, да и глазами слаб стал, ошибаюсь уже.

— Ты писать не будешь, я Настоятелю скажу, он на тебя епитимию наложит. Как миленький напишешь!

Владимир хитро прищурился, глядя на послушника.

— Есть у меня условие одно. Выполнишь, продолжу писать.

— Какое? — оживился послушник.

— А такое — начнешь грамоту учить, станешь мне помогать, тогда и продолжу, — заявил стрик. По-доброму он это сказал, почти потечески.

— Помогать? Тятя говорит, что грамотность эта вся, скоморошество одно, ремесло надо иметь, тогда и хлеб будет в доме.

— Тятя твой в темноте родился, в темноте и помрет. Иди вон.

Кузьма опять насупился. Обидно говорил летописец.

— Так что Настоятелю сказать?

— С Настоятелем я сам говорить стану, бестолковые гонцы мне не нужны.

— Опять бестолковый... Сам-то очень толковый, ты поглянь, корябает листы палкой своей, с таким видом вроде Писание новое сочиняет, — ворчал под нос послушник, шагая по деревянному настилу в келью к Настоятелю Сильвестру.

Владимир тем временем вернулся к работе. Пока светло, надо успеть. Ночью это не работа, тем более с такими глазами. Буквы ложились на лист мягкой, тонко выделанной, телячьей кожи ровной красивой вереницей, а воспоминания, поблекшие со временем, всплывали и множились. Лица людей, живых и уже преставившихся. Кто же был там? Не перепутать бы чего. Так прошел час. На дворе тени стали длиннее, и солнце лишь косым лучиком попадало на рукопись. В келью вошел Сильвестр.

— Вижу, работаешь.

— На то и руки Господь дал, чтобы человек трудился.

— А Кузьма говорит, что лежишь ты и пузо чешешь.

Сильвестр подошел к Владимиру и заглянул в написанное.

— Вижу, многое успел.

— Раньше больше успевал, да глаза уже не те.

— Не молодеем, что уж... А саму битву ты видел?

— Да пришлось, что там особенного? Секли друг дружку насмерть, страсти...

— Вот и расскажи, как там было. Когда начали, чем закончилось.

Владимир замер, закатив задумчиво глаза, он вспоминал, как началась битва.

— В шестом часу по полудни. Да так и было, сперва вроде раньше хотели начать, но татары мялись. Одни биться хотели, другие говорили, что лучше позже, но решили, что пора... И понеслась сеча. Наши пехотой пошли. Басурмане их конями, ну а потом засадный полк ударил. Гнали басурман долго. Больше пяти верст гнали. И рубили мечами, топорами. Пленных мало было. А надо было пленных брать. Их потом на наших невольников сменять можно было. Но не думали о том. Злоба глаза разуму закрыла. Дюже злы были на татар.

Сильвестр встал и подошел к маленькой печке в углу кельи. Не торопясь, пошевелил тлеющие угли кочергой, заглянул в кринку с душистым отваром из трав.

— Прохладно у тебя... Я поленце подкину... ты травник хороший, на чем отвар-то?

— Так травы лесные, успокаивают, для сердца полезно, сон крепче...

— Да я, знаешь, ночами не сплю почти, измаялся уже... Что не скажешь, на чем отвар?

— Так мой бери, я себе еще сварю.

Настоятель плеснул себе в медную кружку из горшочка и вернулся на место.

— Ты что замолчал? Продолжай, я тебя слушаю.

Владимир присел на трехногий табурет и тяжело вздохнул.

— Тяжко мне вспоминать, что было тогда.

— Ты крепись. Нам с тобой большое дело сделать надо, летопись, она сейчас может казаться занятием не нужным. А потом нашими глазами на прошлое потомки смотреть будут. Не серьезное дело думаешь?

Владимир только рукой махнул. Все верно говорит настоятель, но в душе пустота одна. Воспоминания, которые он затронул, воспоминания о жизни не простой, тяжелой, почти без радости, как ветер степной выдувают остатки сил душевных. Тоска, порождающая уныние, селится в нем. Уныние — грех.

Вот и получается, что не послушание у него, а епитимия какая-то. Понимал это и Сильвестр. Поэтому утешить пытался летописца. Поэтому и пришел сейчас в его келью, отложив многие дела свои... Нет в этом мире тленном ничего важнее души. И болезни душевные настоем из трав не вылечишь. Слово человеческое и участие нужно. Понимал это Настоятель. Ибо и его жизнь была долгой, а крест нелегким.

Писать, как будто это так просто! Решать, что важно, а что нет. Ответственность какая! Монах в изнеможении отложил работу в сторону. О чем писать? О Дмитрие, о делах его...

О князе напишется, успеется. А как, к примеру, о татарах писать? О том разъезде — отряде разведчиков в триста сабель, что послали ордынцы, враги Мамаю. Искали его многие. Но нашел первым Дмитрий. Татары тогда выследили раскольника и самозванца, но помощь к ним не успевала, вот и примкнули они к войску Дмитрия, чтобы вопрос решить. Бились свирепо. Но как были врагами русским, так и остались. Каждый всадник пять пеших стоит. Такая подмога на вес золота, когда все на волоске висит. Были и другие всадники, нежданная помощь. Другие дети степи Казаки. Как быть с ними? Они, конечно, христиане, но живут как разбойники. Шарпальники и убийцы. Грабеж для них первое дело. Брагу пьют без меры. И ладно бы каялись! Так нет! Гордятся этим! А еще гордятся, что княже им не указ. Вольные они.

Душа летописца трепетала. Гнев от того, что ответ не давался, вскипал в нем все сильнее.

— Казаки, казаки... — бормотал под нос себе Владимир. — Злее зверя степного, казаки эти...

Помнил он их пеструю ватагу. Со свистом и улюлюканьем влетели они в стан русских войск, дозорные сигнал подали слишком поздно, а некоторых они просто связали и привезли как мешки с овсом, поперек седел. Приехали к князю они без надежды на победу. «Чтобы татарину ежа в шальвары его запустить, а там как Богу угодно, пусть будет» — так сказал Атаман. Как его звали, Владимир вспомнить не мог, а ведь раньше помнил. Память уже не та. Глубоко вздохнув, монах взял свое стило и принялся не торопясь вписывать казаков в историю битвы. Пришли без корысти. Чуть скривился, вспомнив, как сотники лаялись с боярами из-за трофеев, но это мелко, все люди живые. Все грешны. Достойны.

Писал Владимир, как и положено, церковным слогом: «И был народ казаки, числом тьмы более, конны и оружны как князья. Лихи в деяниях, в помыслах чисты».

Зазвонили к обедне. Надо же! Полдня уже прошло, а он только пару строк написал.

Весь день прошел в трудах и молитвах и приблизился к концу. После вечерни Владимир направился в свою келью. Чуть поодаль, сторонясь его, шел Кузьма. Кутаясь в худой тулупчик, он бормотал что-то сам себе. Иеромонах с тоской смотрел на послушника: ну почему он такой бестолковый? Батю своего слушает... Владимир узнавал у братьев, кто отец его и родня. Бражники заядлые. Ремесло у них соответствующее — бондари. Пропивают все, что зарабатывают. Мать Кузьму в обитель отдала, чтобы хоть из него толк вышел. Чтобы вырос, не спился, человеком стал. А он... Неужели отцовская кровь верх берет? Удивляться нечему, если так. Все на землю грешную приходим со своей судьбой. Одному Богу она известна.

В последующие дни Кузьма приходил исправно, спрашивал о работе, отправлялся к Сильвестру с докладом. Приносил обратно готовые гла-

вы с исправлениями, сделанными настоящим. Владимир переписывал листы и аккуратно складывал их в стопку. Труд рос, наполнился деталями.

Исполнительный послушник с каждым днем все больше и больше увлекался. Иногда стоял поодаль, не смея отвлекать летописца от работы, и подглядывал за тем, как стило в руках мастера, поскрипывая, скользит по выделанной телячьей коже, оставляя красивые буквы одну за другой. Интересно ему стало, ведь на глазах его происходило событие важное, историческое. Да, это не битва, не сражение, но и это тоже важно.

Наконец, накануне Рождества Христова подошел он к Владимиру, поклонился и неуверенно, боясь отказа, попросил:

— Прими меня в ученики свои.

Старик поднял голову. Удивила его просьба. Немного помолчав, в раздумьях, ответил:

— В ученики захотел... это хорошо. Дело хорошее, правильное. Я приму тебя в ученики.

Глаза Кузьмы засветились от счастья.

— Спасибо, отче...

Едва сдерживая улыбку, он припал к руке Владимира, поцеловав ее в знак благодарности и смирения.

— Для начала постриг прими. А слабость твою, от отца доставшуюся, мы послушаниями выбьем. Не дай Бог хоть пригубишь хмельное, расстригу и не посмотрю, что мой ученик.

— Да и не пью я, отче.

— Вот и не пей! А теперь ступай. Я с Сильвестром поговорю, чтобы тебя от работ освободили, будешь учиться, времени на другое не будет.

— Чтобы от всех освободили? — испугался юноша.

В коровнике у него был любимый бычок, полугодовалый теленок, которого он кормил. Тот всегда ждал паренька, ждал гостинец, который Кузьма приносил каждый раз — горбушку душистого монастырского хлеба с солью. Телок брал лакомство аккуратно, своими теплыми мягкими губами, а потом лизал щеку кормильца. Благодарил так.

— Да, ото всех, — подтвердил опасения юноши старик, вернувшийся к своей летописи.

— А это... Можно на скотном дворе работу оставить?

— На скотном дворе? — во второй раз удивился Владимир. Ладно бы в трапезной. Там с харчами рядом, а тут навоз убирать рвется.

— Да, там за скотиной ходить нужно. Люблю я тварей этих. Хорошие они.

— Ну раз так, то ладно. А теперь ступай.

Шли месяцы. Весна, лето, осень... Прошел год. Кузьма оказался не очень смышленным, зато очень терпеливым и усидчивым учеником. Понемногу Владимир привлек его к написанию под диктовку черновых



вариантов. Старику легче стало. Труд наставника и его подмастерья вырос, теперь это уже была объемная летопись.

Теперь все чаще иеромонах писал, вопреки обыкновению, ночью. Щурясь при трепетном свете двух сальных свечей, он споро выводил слово за словом. И труд его шел как по маслу. Текст ложился на желтовато-серые листы буква за буквой, закрепляя то, что в памяти людской может пропасть уже через поколение. Или будет перевернуто, искажено, вывернуто наизнанку корысти ради, людьми на руку не чистыми. Радость в истрадавшей за долгую, тяжелую жизнь душе поднималась все выше и выше. От сердца. И ум от этого начал лучше работать. Радость от того, что не было у Владимира больше сомнений и угрызения его не мучили.

Кузьма же каждый раз, просыпаясь и видя сделанную ночью работу, испытывал стыд. Старик надрывается, а он молодой — дрыхнет. Но к ночной работе Владимир ученика не допускал. Только позже понял Кузьма, когда уже было поздно, почему старик так поступал. Тот чувствовал свою немощь и боялся не успеть.

Владимир ушел легко, во сне. Господь принял душу его на Успение.

Предчувствуя свой конец, иеромонах привел все дела в порядок. Осталась после него полностью законченная черновая летопись. Кузьме только набело переписать. В каллиграфии он преуспел. Поэтому со стороны Сильвестр привлекать никого не стал.

Настоятель доволен остался тем, что увидел, даже похвалил. А инок Кузьма стоял краснее киновари. Глаза в пол потупил. Хоть и приятно ему было, а как-то неудобно.

После вспомнился Кузьме недавний разговор с бывшим учителем.

Как-то в один из майских дней вышли монахи на луг, что за стенами монастырскими расстелился. Стояли и смотрели на мир, их окружающий. Солнце клонилось к закату. Жизнь расцвела после вьюг зимних, и пахло травами так, что голова кружилась.

— Смотрю я на солнце. И диву даюсь. Каждый день мы его видим, злимся — что печет, что яркое. Что нет от него проку зимой, что греет слабо. Глупо это. А еще глупо смерти своей бояться. Ведь в мире этом зайдешь, а в другом воспрянешь, только навсегда уже. Знаешь, Кузьма, а мне помирать не страшно. Боязно немного, но не страшно.

— С чего боязно-то?

— А с того, что любому живому боязно с миром привычным расстаться. Не душе боязно — разуму. Я насмотрелся на смерти чужие, сам много раз чуть не помер. Тогда страшно было. Страшно было умереть и ничего полезного людям не сделать. Ведь мы на свет этот приходим, чтобы отдавать, а не брать. Кто отдает, тот и счастлив. А люди гребут и гребут только себе. Грех это.

— Че?! Это я счастлив должен быть, если добро свое раздавать стану? — удивился Кузьма.

— Да не добро, а любовь свою. Душа она из любви соткана. Да хоть бы и добро свое... Все, что мы творим на потребу ежедневную, это тлен. А о тлене жалеть не надобно.

— Если ж все отдавать начнут, кто ж тогда брать станет?

— Эх, ты... — Старик усмехнулся. — Не понял ты ничего. Если отдаешь, то и принимать не грешно. А даже легко и радостно. И дело это богоугодно. Господь он сам любовь. Поэтому помирать мне не страшно. Когда поймешь это, то и тебе будет не страшно.

Не могли знать — и даже предположить не могли — иеромонах и ученик его, какие испытания выпадут на долю их детища. Как уже много лет спустя после смерти Владимира вспыхнет в обители пожар. Братья будут спасать книги, обливаясь водой на морозе, вбегать в полыхающую геену, хватать кто сколько сможет и, задыхаясь от угара, бежать обратно. Не обращая внимания на ожоги и занявшиеся одежды, бросались, едва отдышавшись, вновь в пламя. Некоторые угорят, кто-то потом умрет от ожогов.

Среди этих героев будет и Кузьма. Уже не сопливый юнец, а зрелый муж. Он — после того как оправится от ожогов — примется за восстановление рукописей. Огонь не пощадит многие писания. Не пощадит и «Сказания о Поле Куликовом». Треть труда превратится в обугленные лоскуты телячьей кожи.

Дорогую телячью кожу, которую Сильвестр выделил на чистовую книгу, придется заменить более дешевой выделанной бычьей кожей. Над переплетом Кузьма однако потрудится старательно. Не стыдно ему будет перед Владимиром в Царствии Небесном предстать. Переплет выйдет добротный. Бронзовые петли, черная кожа, чеканные буквы заглавия. Заглядение.

Много чего выпадет на долю книги. Она надолго переживет своих авторов. Автор «Задонщины» будет читать её и многие факты возьмет из этого труда. Смутное время отразится на книге. Пришлые ляхи сорвут с нее переплет, но ввиду отсутствия драгоценного металла выбросят в канаву. Монахи будут собирать бесценные труды и ее заберут. Переплета уже не дадут, просто завернут в рогожку и сложат на полке с другими книгами — до лучших времен.

Через многие злоключения до потомков дойдет очень скудный обрывок из нескольких листов, авторство по которому определить будет невозможно.